

Открытие Японии и реформа японского тела (вторая половина XIX — начало XX вв.)

*Сегодня Япония является одним из государств-лидеров современного мира. Однако еще полтора столетия назад она была замкнутым обществом, страной, полностью закрытой от европейской цивилизации. Первое столкновение с Западом и западной культурой для японцев XIX века стало катастрофой: оценив огромный разрыв между своей страной и Европой, японцы вдруг стали считать себя «неполноценными», а страну – «отсталой». Кризис идентичности осознавался не только как культурно-политический, но и как личностно-телесный: японцы начали объяснять многие свои проблемы телесной «ущербностью», внешним отличием от европейцев. В статье **Александра Мещерякова**, посвященной языку тела и феномену телесности в Японии, автор прослеживает трансформации японского общества с XVII века до наших дней, а также рассуждает об особенностях японской культуры тела и о том, как приобщение к западной парадигме развития повлияло на внешний облик японцев. Материал опубликован в журнале [«Новое литературное обозрение»](#) (2009. № 100).*

Традиционные общества, которые вступают (вынуждены вступить) на путь модернизации (вестернизации), сталкиваются с огромным числом проблем – социальных, экономических, культурных. Хотим мы того или нет, но смыслы, вмонтированные в западную культуру и цивилизацию, обладают деструктивным потенциалом по отношению к культурам традиционным. Разрушение привычной среды обитания, обычаев, системы управления, хозяйственных основ приводит (особенно на первых порах) к драматическим последствиям для большинства населения. Потеря жизненных ориентиров, невозможность быстро приспособиться к меняющимся условиям имеют результатом возникновение стрессов и комплекса неполноценности. Из всех стран Азии Япония первая сознательно приступила к последовательной модернизации и достигла на этом пути огромных успехов. Это, однако, не означает, что путь был легким – цена за приобщение к западным «ценностям» оказалась велика.

Социальные, политические, экономические и культурные проблемы, с которыми Япония сталкивалась начиная с середины XIX века, не раз становились предметом исследований. Рассмотрению подвергалась по преимуществу «страна Япония». Однако как-то выпадало из виду, что эта страна населена людьми-японцами. И вот личностной реакции японцев на разворачивающиеся события внимания уделялось меньше. В частности, одна проблема была практически обойдена вниманием. Я имею в виду тот телесный комплекс неполноценности, который возник у японцев во время приобщения страны к западной парадигме развития.

Проблема тела пользуется популярностью в среде культурологов. Предметами обсуждения являются обнаженное тело, закамуфлированное (одетое) тело, медицинские (этномедицинские) представления, тело какместилище души, язык тела (невербальное поведение) и многое другое. В последние десятилетия особой актуальностью пользуются исследования тела в рамках гендерной теории. Но, осмысляемое как феномен культуры, тело странным образом предстает оторванным от исторических процессов. Сами историки предпочитают говорить совсем о других реалиях, которые влияют на причины и динамику событий. Здесь и геополитика, и классовые (сословные) и экономические интересы, и

личности тех лиц, которые принимают решения. Тело же включено в панораму исторических исследований, пожалуй, только в одном аспекте. Поскольку для поддержания своего существования ему требуется определенное количество калорий, то проблемы недоедания и голода (шире – уровня потребления) признаются важным фактором в истории.

Мне представляется, однако, что дело не ограничивается калориями. Именно тело является первичным носителем всех антропогенных (культурных) смыслов и в связи с этим не может быть исключено из исторического анализа. История – это следствие телесной жизни и ее продолжение. Простая, но, кажется, не до конца высказанная мысль – без человеческого тела человеческая история была бы попросту невозможна. Без понимания телесного мы обречены на непонимание того, что происходило и происходит с человеком, а значит, и с социумом. При этом особенности телесного поведения и телесных репрезентаций могут служить как «убыстрению», так и «замедлению» истории – если понимать под «историей» приращиваемую информацию, имеющую отношение к социальной сфере. Как это видно на японском примере, строгая и всеобщая предписанность (этикетность) телесного поведения, безусловно, является «замедлителем» истории, а отсутствие такой предписанности способствует ее «ускорению», эскалации конфликтов, генерации «событий». На примере других традиций также ясно видно, что времена социальных трансформаций непременно сопровождаются сетованиями по поводу утраты прежних норм поведения (в том числе телесно-этикетного).

«Примитивные» народы, которые проводят большую часть жизни обнаженными, не создают «истории» в нашем понимании. Они не пишут «истории» и не склонны оставлять после себя письменных свидетельств. Историю пишут одетые люди. Чтобы написать что-то, следует одеться. А потому одежда принадлежит к языку тела и также является необходимым атрибутом истории. Одежда придает телу огромное количество культурных смыслов. Только одетое тело является субъектом истории, и только одетое тело может являться объектом исторической мысли. Что до тела нагого, то «обнаженные» общества исследуются этнографами. Историк может лишь попричитать по этому поводу, но он умеет обращаться только с телами одетыми, а потому одежда обязана быть включена в его «телесный» анализ.

Одна из главных социальных оппозиций – свой/чужой – выявляется на основании признания разности. Разумеется, нельзя отбрасывать политических, психологических, умственных и культурных (как реальных, так и мнимых) отличий «своих» от «чужих», но чрезвычайно важными следует признать и различия телесные. Это утверждение особенно справедливо для эпохи колониализма и господства расовых (расистских) теорий, когда цвет кожи и телесное строение становятся в значительной степени эквивалентом «культуры» (цивилизованности) или же «варварства».

В данной статье речь пойдет по преимуществу об одной стороне японской телесности – о том, как и за счет каких средств японцы пытались изжить свой комплекс телесной неполноценности перед Западом и к каким историческим последствиям это приводило.

«Закрытая» Япония

Япония XVII – первой половины XIX века представляет собой «идеальный» случай «закрытого» общества и государства. После того как в 1603 году к власти пришел Токугава Иэясу (1542—1616), закончился длительный период междоусобных войн. Иэясу положил начало сёгунской династии Токугава. Одной из характерных черт этого сёгуната, просуществовавшего до 1868 года, была почти полная и добровольная изоляция от внешнего мира. Общение с ним было ограничено немногими китайскими, корейскими и голландскими

кораблями. Вместе с ограничениями «на въезд» был введен и полный запрет на выезд японцев за пределы архипелага.

В нынешнем мире «закрытость» обычно свидетельствует об отсталости и близком крахе режима, о неконкурентоспособности страны (как экономической, так и военной). Однако было ли так всегда? Мы привыкли к положительным коннотациям понятия «открытость», но наполнение понятий «открытость» и «закрытость» меняется и имеет исторический, то есть преходящий, характер: то, что доказывало свою эффективность в течение столетий, оказывается вдруг неспособным противостоять новым вызовам. Я допускаю, что через какое-то время и идеология «открытости» и «глобализма» исчерпает свои ресурсы, так как другой ее стороной является уничтожение хозяйственного и культурного разнообразия.

«Закрытое» общество и государство принесли Японии долгожданный покой и даже процветание. После закрытия страны Япония вступила в полосу стабильности и мира. Токугава Иэясу и его потомкам удалось сформировать политическую систему, которая доказывала свою прочность в течение двух с половиной веков. Страна была разбита на две с половиной сотни княжеств. Их отношения с сёгуном и между собой основывались на сложной системе сдержек и противовесов. Идеалом периода Токугава являлась конфедерация княжеств, а не государство абсолютистского типа. Князья обладали значительными полномочиями и имели достаточно прав, которые позволяли им сохранять самостоятельность и чувство достоинства.

Система доказала свою эффективность – вплоть до середины XIX века ни одного сколько-нибудь серьезного заговора выявлено не было, крестьянских восстаний не наблюдалось, случаи массового голода были нечастыми. Крестьяне выражали свое недовольство в форме петиций, обращенных к властям. Просьбы крестьян оказывались весьма скромны: по большей части они просили избавить их от произвола местного чиновника. Протесты городского населения против повышения цен на рис временами заканчивались погромами рисовых лавок, но такие случаи были исключительно редки. Легитимность власти сёгуна и князей под сомнение никогда не ставилась. Элита предъявляла достаточно высокие требования по отношению к самой себе, что помогало минимизировать коррупцию и беззаконие.

Доказательством благополучия «закрытой» страны может послужить демографическая ситуация. Считается, что в 1600 году численность населения Японии составляла чуть более 12 миллионов человек. Перепись населения, проведенная в 1721 году, показала, что в стране проживает уже около 31 миллиона человек. К концу века эта цифра увеличилась, но уже незначительно. Можно полагать это «застоем», но можно считать, что общество и его хозяйство находились в уравновешенном, стабильном и удовлетворенном состоянии. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что японское государство не предпринимало никаких усилий по расширению своей территории, хотя Хоккайдо, например, представлял собой, казалось бы, прекрасную возможность для экспансии и освоения. Иными словами, Япония располагала достаточной ресурсной основой для того, чтобы поддерживать высокую численность населения, не прибегая к экстенсивным способам развития. В то время два урожая были уже нормой во многих районах японского архипелага.

Высокая численность населения поддерживалась и достаточно развитой гигиенической культурой. Чистоплотность и частая баня были нормой, катастрофических эпидемий Япония не знала. Традиционные для Дальнего Востока методы врачевания включали, помимо растительных и минеральных лекарств, акупунктуру, прижигания моксой, массаж, тщательно разработанную диету. Несмотря на высокую детскую смертность, средняя продолжительность жизни составляла около сорока лет.

Значительная часть японского населения концентрировалась в городах. Считается, что в начале XVIII века в них проживало 7—10% населения. Основу городского населения составляли самураи, которым предписывалось проживание рядом со своим сюзереном. В связи с этим большинство японских городов того времени представляли собой разросшиеся призамковые поселения. Самыми большими городами были Киото, Осака и Эдо. Киото – древняя столица страны с дворцом императора, Осака – ее «кухня» (крупнейший торговый город), Эдо – резиденция сёгунов. Население Эдо составляло около миллиона человек, Киото и Осака – 500 тысяч.

При этом урбанизация не сопровождалась значительными изменениями в производстве, а сам рост городов был обусловлен не столько экономическими, сколько административными причинами. Городская Япония не знала ничего подобного «промышленной революции». Улучшения в технологии производства не носили принципиального характера. Даже самые крупные города являлись, по сути, очень большими «деревнями». В то же самое время можно говорить о «коммерческо-торговой революции», поскольку были созданы разветвленная торговая сеть и протобанковская система, которая занималась страхованием морских грузов, выдачей аккредитивов, кредитованием князей и оптовых торговцев. Последние, в свою очередь, кредитовали крестьян.

Стабильность режима и общественное спокойствие были характерной особенностью периода Токугава. Власть, не отвлекаясь на внешние дела (в стране отсутствовало даже специализированное учреждение, в ведении которого находились бы внешние сношения), всю свою энергетику употребляла на обеспечение незыблемости принятого порядка. Предпринимавшиеся время от времени реформы затрагивали вопросы налогообложения, финансовой системы, трудовой миграции, «оптимизации» структуры потребления (ограничение «роскоши»). Никаких серьезных попыток (ни «сверху», ни «снизу») изменить политическую систему, пересмотреть идеологические приоритеты или сословную структуру не наблюдалось.

Запрет на изменение сословного состояния, создание крестьянских пятидворок с их принципом круговой поруки и коллективной ответственности (за недоимки, преступления, организацию общественных работ и т.д.) подкреплялись детальнейшей регламентацией жизни всех сословий. Одежда, прически, еда, размер и устройство жилища, материалы для его постройки, способы передвижения, формы публичного поведения и социальные роли были разработаны с пугающей детализацией. Японец проживал в регламентированном и предсказуемом пространстве – не только социальном, но и физическом. В этом пространстве частные дома, учреждения, магазины, театры, публичные дома, возделанные поля занимали раз и навсегда определенное властями и традицией место. Занятия были наследственными, местожительство – тоже. Для совершения путешествия требовалось разрешение властей. Люди не искали (не имели возможности искать) «лучшей доли» за морем, «пионерский» дух отсутствовал, степень оседлости была чрезвычайно высокой. Общий ритм жизни выстраивался из расчета на извечность существующих порядков, будущее время рассматривалось как предсказуемое. В 1836 году залезший в долги князь Сацума заключил с кредиторами соглашение, согласно которому завершение выплаты долга предусматривалось в 2085 году.

Обучение, осуществлявшееся в разветвленной сети частных школ (как для самураев, так и для простонародья), получивших особенное развитие со второй половины XVIII века, было направлено на усвоение того, что высшей добродетелью является безоговорочное послушание – главе семьи, старосте, уездному и городскому начальству, князю. Образцом послушания выступали самураи – главной добродетелью их неписаного кодекса чести (бусидо) была верность сюзерену. Сохранилось большое количество сочинений

представителей всех сословий, которые свидетельствуют о том, что вопросам этики и этикета уделялось огромное внимание. Закрепленная на этикетном уровне предписанность социальных ролей в значительной степени ограничивала любые проявления поведения, направленного на подрыв основ порядка.

Образованность глубоко проникла в японское общество. Считается, что в середине XIX века грамотой в той или иной степени владело около 40% мужчин и 15% женщин. Что до самураев, то практически все они были грамотными. В связи с этим ксилографическое книгопечатание получило широкое распространение, в крупнейших городах действовали сотни библиотек.

Сёгунат мыслил себя не только административным распорядителем, но и моральным лидером, учителем народа, который считался «неразумным». В связи с этим прилагались настойчивые усилия по внедрению моральных ценностей. Периодически издавались указы, призывающие к неукоснительному исполнению семейных и хозяйственных обязанностей; перед частными домами устанавливались таблички, свидетельствующие о том, что здесь проживают чадолубивые (многодетные) родители и родителейлюбивые дети. Часты были и указы, запрещающие (ограничивающие) излишества и «роскошь» – фейерверки, посещение зрелищных мероприятий (выступлений уличных артистов, театральных постановок и соревнований по борьбе сумо). Осуждались ношение драгоценностей, изысканные курительные трубки, гребни, шелковая одежда, пышные свадьбы, дорогое питание, неумеренное винопитие и т.д. Поощрялись экономность и бережливость: жителям предлагалось пользоваться домашней утварью максимально долго, откладывая до последней возможности ремонтные работы в своем доме, не тратиться на излишества. Никого не удивляли и запреты на азартные игры, «нескромные» картинки и книжки (в их число попадал и знаменитый средневековый роман «Повесть о Гэндзи» Мурасаки Сикибу), «безнравственные» театральные постановки. Свободная любовь считалась проявлением неконтролируемой и разрушительной страсти, а потому не подлежала воспеванию. Место любви занимал семейный долг. Физическое наслаждение мужчин обеспечивали обитательницы лицензированных «веселых кварталов». Закрепленное в указах власти раздражение ими вызывалось не столько их «аморальностью» или же «развращенностью», сколько их шикарными нарядами. То есть им предъявлялись те же самые требования, что и другим обитателям страны.

Общий курс сёгуна был рассчитан не столько на увеличение производства, сколько на ограничение потребления, и как для «простолюдов», так и для самураев, князей и даже самих сёгунов, которые, бывало, являли себя своим вассалам в самых простых одеждах. Статусный разрыв между различными социальными группами был огромным, но, если судить по европейским стандартам, разница в материальном положении не была столь кричащей. Несмотря на ограниченность средств, сёгунат и князья не предпринимали серьезных усилий для увеличения налоговой базы, которая на протяжении всего периода Токугава оставалась практически неизменной.

Общество эпохи Токугава было жестко стратифицировано. Основными сословиями (в порядке их значимости) объявлялись самураи, крестьяне, ремесленники и торговцы. Эти сословия пребывали в существенной изоляции, но они не могли и обойтись друг без друга и вступали в деловые контакты. Однако межсословные браки пресекались, смена статуса была случаем редчайшим.

В отличие от Европы, клирики находились за пределами этой социальной сетки. В обществе доминировало неоконфуцианское понимание религии, считавшейся в значительной степени предрассудком. Разумеется, это отнюдь не означало прекращения отправления

многочисленных буддийско-синтоистских ритуалов, но все-таки, по сравнению с прошлым временем, «посюсторонняя» сторона жизни стала волновать японцев в гораздо большей степени. Буддийское понимание жизни как «страдания» отступило на второй план. Состояние вещей часто именовали благословенным, правителей не поносили, а хвалили. «Сегодня в Поднебесной царит мир. Благодаря этому благодатному, счастливому обстоятельству товары и ценности могут беспрепятственно доставляться в места, удаленные на несколько тысяч ри, хоть морским путем, хоть сухопутным, не опасаясь морских пиратов или лесных разбойников. В городах люди имеют возможность спокойно жить в своих домах. Если самураи, крестьяне, торговцы и ремесленники, каждый на своем месте, будут прилагать усилия к исполнению своего занятия, то они будут жить, ни в чем не нуждаясь. Это заслуга милостивой человеколюбивой политики [сегодняшних] властей, вызывающая чувство благоговения... В свободное от трудов время [человек] имеет возможность любоваться луной или цветением сакуры и, кроме того, при желании изучать Путь совершенномудрых... Благодеяние нынешнего государства настолько огромно, что может идти в сравнение с Небом и Землей, и его едва ли можно описать с помощью кисти»[1].

Общество и государство эпохи Токугава отличались высочайшей степенью стабильности. Однако система сёгуната была выстроена таким образом, что она хорошо держалась в условиях автаркии, располагая достаточной гибкостью и ресурсом для самоподстройки. Малейшее внешнее вмешательство в ее работу грозило катастрофой. В середине XIX века сёгунское правительство под давлением (в том числе и силовым) западных держав (прежде всего США, России, Англии и Франции) было вынуждено пойти на открытие нескольких портов, а всего через десятилетие, в 1867 году, сёгунат Токугава пал. Научно-технологическая отсталость привела к тому, что сёгунат не смог дать отпора западному давлению. Стали полагать, что он должен быть устранен – ибо не может гарантировать независимости страны. В результате вспыхнувшей гражданской войны к власти пришли силы (в основном, это были низкоранговые самураи из юго-западных княжеств), которые выступали за всеобъемлющую модернизацию страны. Режим сёгуната сурово осуждался за его недееспособность. Япония вступает в эпоху решительных реформ. Их освящает фигура императора Мэйдзи (на троне – 1867—1912). До этого времени императоры в течение длительного времени были отстранены от власти и не покидали пределы своего дворца в Киото. Мэйдзи тоже ничего не решал, но теперь он стал появляться на публике, позиционируя себя в качестве абсолютного монарха и «вдохновителя» перемен.

Период Токугава оказался для Японии поистине «золотым», тогда как середина XIX века принесла ей полноформатное столкновение с европейской цивилизацией, результатами которого стали крах всей прежней системы жизни и лихорадочный поиск ответов на вызовы Запада. Все это сопровождалось развитием комплекса национальной неполноценности и психологическими стрессами. Оценив огромный разрыв между Японией и Западом, японцы вдруг стали считать себя «неполноценными», а страну – «отсталой». Кризис идентичности имел всеобъемлющий характер и осознавался не только как культурно-политический, но и как личностно-телесный. Японцы начали объяснять многие свои проблемы телесной ущербностью.

В то же время господствовавшие в обществе настроения нельзя охарактеризовать как тотальное «уныние». Элита, а вслед за нею и «народ» считали, что страна в состоянии догнать Запад. На вооружение было взято учение социального дарвинизма в версии Герберта Спенсера, труды которого были переведены на японский язык просветителями, имевшими огромное интеллектуальное влияние на правительство. Вслед за Спенсером японцы стали считать, что «прогресс» обеспечивается сначала соревнованием между отдельными людьми, потом – между группами людей и, наконец, конкуренцией между нациями. И что по этой шкале, где сосуществуют первобытные, «дикие» и «цивилизованные» народы, возможно

перемещение. Прежняя модель мира, ведущая свое происхождение из Китая, была статичной. Она предполагала, что существует культурный центр, окруженный «варварами». Центр и периферия обладают постоянными характеристиками, а потому варвары никогда не могут приобщиться к цивилизации и встать вровень с центром. Теперь же основными лозунгами эпохи становились (последовательно) «приобщение к цивилизации» (имелась в виду западная цивилизация), «богатое государство и сильная армия», «японский дух и западные знания».

Главной целью реформ являлось создание страны, которая смогла бы не только отстаивать свою независимость, но и войти в клуб европейских держав, где она была бы признана в качестве равного партнера. «Реформа тела» была важнейшей составной частью этих всеобъемлющих реформ.

Реформа одежды

При непосредственном столкновении с европейцами японцы стали считать свое тело «некрасивым» и «непропорциональным». В тот неполиткорректный век европейцы открыто смеялись не только над «дикими» обычаями японцев, но и над их низким ростом, «короткими» и «кривыми» ногами, неисправимой худобой. Веря в свое неоспоримое превосходство в экономике, военном деле, науке и культуре, слишком многие люди на Западе подсознательно желали оправдания своей колониальной экспансии и рассматривали любую непохожесть колонизируемых народов как «отсталость». В этих условиях набиравшие силу исследования по физической антропологии воспринимались как обоснование собственного превосходства. Поскольку Япония считалась страной «отсталой», то и ее обитатели тоже не могли избежать негативных оценок.

Что делать? «Исправление тела» (наращивание мускулов, повышение роста, ликвидация кривизны ног, вызванной недостатком животного белка, а также обычаем ношения младенцев за спиной) – процесс длительный. Поэтому для начала было гораздо проще и даже естественнее попытаться «закамуфлировать» свое тело европейским платьем. Естественнее потому, что именно одежда в глазах японца всегда являлась показателем статуса. Облачаясь в европейскую одежду, японец «уравнивал» себя с европейцем.

В 1871 году последовало распоряжение, предписывающее чиновникам облачиться в европейское платье. В указе императора Мэйдзи от 4 сентября говорилось: «Полагаем Мы, что одеждам следует меняться в лучшую сторону во времена перемен, а мужи государственные должны своим авторитетом определять их. Нынешние одеяния и головные уборы были определены по примеру установлений, существовавших в древнем [китайском] государстве Тан. Они скроены ниспадающими и оставляют впечатление слабости. Считаем это весьма прискорбным. В нашей божественной стране с самого начала управление осуществлялось с опорой на военных. Сын Неба являлся главнокомандующим войсками, а люд поклонялся его обличью. Государь Дзимму [трад. 660—585 до н.э.] при свершении своих изначальных дел и государыня Дзинго [трад. 201—269] во время похода в Корею одевались совсем не так, как принято сейчас. Выгляда слабым, как можно управлять Поднебесной хотя бы один день? Так что теперь Мы желаем решительно изменить установления относительно одежды и обновить их, возвратиться к временам предков и построить государство с почтением к военному. Вы, наши подданные, должны принять Нашу волю близко к телу»[2].

Таким образом, имеющая китайское происхождение одежда подлежала замене на «другую». Хотя в указе говорится про возврат к древнеяпонским традициям, на самом деле имелись в виду одежды европейские. Японские реформаторы поступали так часто: вводя новые

обыкновения, они говорили, что возвращаются «к истокам». На самом же деле в далеком VIII веке, когда Япония модернизировалась по китайскому образцу, главным мотивом введения китайского платья было желание походить на тогдашнего культурного донора. В веке XIX дело обстояло похожим образом.

Из текста указа явствует, что европейская одежда воспринималась прежде всего как одежда военная, как униформа. С этих пор традиционное мужское облачение исчезает из придворного (государственного) обихода. Сам император Мэйдзи подал тому пример: с мая 1872 года стал появляться на публике почти исключительно в европейском платье, преимущественно в военном мундире. Традиционная одежда стала употребляться в государственном быту лишь в исключительных случаях. Мэйдзи облачался в нее только во время молений синтоистским божествам, которые совершались в присутствии самых приближенных лиц, то есть не имели публичного характера. На своем парадном портрете Мэйдзи предстал в мундире[3].

Военная форма европейского образца со знаками отличия предполагала строгую иерархию, а эта идея была близка Японии. Японцы того времени не сомневались, что «слабость» их тела обусловлена многолетним миром. Они были убеждены в том, что если постоянные войны в Европе приводили к возрастанию физических кондиций, то отсутствие войн в Японии обусловило изнеженность и физическую деградацию. Таким образом, наращивание военного потенциала и участие в войнах превращались в системное требование по реформе не только политики, но и тела.

Мужчины носили европейское платье прежде всего на работе и в общественных местах. Оно служило мерилom «цивилизованности». В качестве главного источника идеи «прогресса» выступало само государство, поэтому именно государственные служащие (включая военных) являлись главными «носителями» европейской одежды. В то же время в домашнем быту и при отправлении традиционных ритуалов мужчины предпочитали японское платье, в связи с чем их гардероб подлежал удвоению. Некий высокообразованный японец утверждал: «По правде говоря, мы не любим европейскую одежду. Мы носим ее лишь в определенных случаях – точно так же, как некоторые животные принимают, в зависимости от времени года, определенный окрас в защитных целях»[4]. Реформа одежды поначалу затрагивала домашний обиход лишь в весьма ограниченной степени, ибо европейская одежда не подходила для жизни «на полу» и требовала реформы интерьера японского дома.

Тем не менее встретить в общественном месте одетого по-японски японца, обладающего хоть каким-то положением, стало трудно. Редчайшим исключением был Оакура Тэнсин (Какудзо, 1862—1913), сыгравший огромную роль в деле институционализации и пропаганды японского искусства: даже во время нахождения в Европе и США он не отказывался от национальной одежды и поучал своего сына: «Со времени своей первой поездки в Европу большую часть времени я одевался в кимоно. Советую тебе путешествовать за границу тоже в кимоно – если ты находишь, что твой английский язык достаточно хорош. Но никогда не носи японское платье, если твой английский плох». Его смелость, однако, вызывала раздражение японской элиты. Придуманная Оакура для студентов возглавляемой им Академии изящных искусств униформа, которая должна была напоминать о древнеяпонских одеждах, вызывала у студентов и персонала стойкое чувство отвращения: покинув пределы заведения, многие из них заходили к проживавшим неподалеку друзьям и родственникам, чтобы немедленно переодеться[5].

Несмотря на пример, поданный Оакура, японцы практически никогда не носили кимоно за границей, что вызывало одобрительные отзывы европейцев. Во время пребывания японского посольства в Санкт-Петербурге газета «Голос» сообщала: «Члены посольства были одеты в

парадных мундирах европейского покроя, богато вышитых золотом, в белых брюках с золотыми лампасами и треугольных шляпах с золотым шитьем и плюмажем. У посланников этот плюмаж – белый, у секретарей и проч. – черный. Во время Высочайшего выхода на площадку перед манежем, представители Японии стояли в первом ряду многочисленной и блестящей свиты Государя Императора, приложив, подобно всем прочим членам этой свиты, руки к кокардам своих шляп. Молодые члены посольства имели чрезвычайно красивый и совсем европейский вид в своих парадных костюмах»[6].

Что до распространения женского европейского платья, то оно происходило намного медленнее. В первые годы правления Мэйдзи на улицах городов стали появляться женщины с короткими стрижками и в «мужском» платье (в брюках), на что власти отреагировали недвусмысленно: они запретили женщинам носить короткие прически и мужское платье – внешний облик должен служить социальным маркером, но вовсе не гендерным уравнивателем.

Многочисленные жалобы родителей и традиционалистов на то, что девочки своими манерами и обликом становятся похожими на мальчиков, возымели действие: в школах ввели практические занятия, на которых обучали тому, как должна вести себя женщина, чтобы не вызывать сомнений в гендерной принадлежности своего тела. На поведение мальчиков (мужчин), на их облик и одежду накладывалось намного меньше ограничений. В эпоху, когда мужская жизнь изменялась очень быстро, именно женщине предписывалось стать хранителем традиций. Это знаменовало серьезнейший поворот в сознании, ведь раньше поведение и облик мужчины регламентировались, безусловно, в большей степени: средневековые руководства по этикету были обращены прежде всего к мужчинам (самураям) как гарантам неизменности порядка.

Противоречивость культурной ситуации хорошо видна на примере того, с какой непоследовательностью входило женское европейское платье в придворный обиход. 30 июля 1886 года супруга императора Мэйдзи, Харуко, впервые показалась на публике в европейском платье. Императрица подала знак всей стране: теперь в европейской одежде разрешается ходить не только мужчинам, но и женщинам. Уже осенью этого года дамы из высшего света перешли на европейские наряды. Однако в самом скором времени новое придворное обыкновение было упразднено. Уже на следующем приеме по случаю дня рождения Мэйдзи дамы высшего света вновь облачились в кимоно. Решение такой «показательной» важности могло быть принято только на самом высоком уровне. Символом новой «мужественной» Японии был военный мундир императора. Он уравновешивался образом Японии традиционной. И здесь огромная роль принадлежала именно женщине. В противном случае Япония превратилась бы в филиал Европы, японцы утратили бы свою идентичность, а этого мало кто хотел. Главную оппозицию правительству составляла «почвенническая» партия, которая жестко критиковала его за чересчур прозападнический курс.

Кроме того, японцы считали предназначенные для «высшего света» декольтированные платья «неприличными». Простолюдины не стеснялись своей наготы в смешанных публичных банях, женщины кормили грудью младенцев прямо на улицах, но обнаженная шея считалась вызывающим знаком сексуальности. Санкт-петербургская газета «Голос» писала в 1867 году, что если японские мужчины постепенно переходят на европейскую одежду, то «японские дамы не дошли еще до подобного прогресса. Несмотря на свои, заведомо всем легкие нравы, они до сих пор не решаются еще оголять по-европейски своих прелестей, и никак не могут взять в толк, что женщине, желающей быть одетой как можно нарядней, следует быть раздетой до пояса. Они находят это неприличным, что доказывает, конечно, их необразованность»[7].

Японский мужчина и японская женщина были одеты по-разному, что вызывало удивление европейцев. В популярной книге, изданной в 1899 году, отмечалось: «Вот у одного магазина остановилась пара: муж и жена. Он выглядит важным господином, одетым по последней моде; на нем все изящное, модное: и пальто, и галстук, и белоснежная крахмальная рубашка, и лакированные ботинки. И в голову не придет, что это – житель Азии. Между тем, его жена совсем не то. В своем “киримоне”, или халате, с легкими деревянными “гэта” на ногах, с бровями, сбритыми догола, и зубами, выкрашенными черною краской, она – настоящая японка»[8].

Японская мужская элита одевалась по-европейски. Однако европейская одежда как таковая не способна была обеспечить «равенства» японцев с европейцами. Не отвечала она и еще одному важному условию: она не могла отделить японцев от других «азиатов», которых тогдашние японцы стали, вслед за европейцами, считать «отсталыми». Приезжая в Америку, японцы обнаруживали, что тамошние китайцы тоже одевались по-европейски, а сами американцы принимали японцев за китайцев (ввиду подавляющего численного превосходства последних – в 80-х годах XIX века в Америке находилось 105 тысяч китайцев и только 2 тысячи японцев), и японцы воспринимали это как оскорбление[9]. Видный публицист Миякэ Сэцурэй (1860—1945) писал, что европейскую одежду может натянуть на себя каждый – хоть негр, хоть индеец. Если отправиться на Мадагаскар и посетить тамошнее государственное учреждение, то местные чиновники своей одеждой не будут отличаться от чиновников японских. Подобная подражательность свойственна народам «примитивным», так поступают только дети, когда они копируют повадки взрослых. Если же речь идет о человеке взрослом, то это означает, что он не обладает чувством собственного достоинства, он является лицедеем, похож на слугу и шута. Так что для Японии, которая обладает историей протяженностью в две тысячи лет, своими обычаями, разработанным этикетом, развитой словесностью и искусством, подобная подражательность является постыдной[10].

Однако эти слова, сказанные Миякэ Сэцурэй в 1891 году, находили немного сторонников. Более того, правительство воспринимало его как оппозиционера, а выпуск его печатного органа под названием «Японец» останавливался по цензурным соображениям много раз.

Облачаясь в европейскую одежду, японцы хотели «понравиться» европейцам и стать с ними заодно. Однако реакция европейцев на смену формы одежды оказалась неоднозначной. Большинство европейцев находило, что национальная одежда все-таки больше японцам к лицу. В 1878 году англичанка Изабелла Бёрд совершала путешествие по Японии. Япония и ее обитатели произвели на нее в целом благоприятное впечатление. Но и ей не показалось, что западный костюм красит японца. Во-первых, отказ от гэта (сандалии на деревянных подставочках) сделал японцев еще ниже. Во-вторых, японская одежда отличалась свободным кроем, а это, по ее мнению, было хорошо для их худых фигур, ибо делало их «размернее» и скрывало «недостатки» конституции. Такое мнение следует признать вполне типичным для тогдашних западных путешественников. Переодеваясь в европейскую одежду, японцы хотели закамуфлировать свое тело, но оказалось, что в глазах европейцев она только подчеркивает «недостатки». Оценка реформы одежды самими японцами и взгляд на нее со стороны временами демонстрировали драматическое несовпадение. Вспоминая свое путешествие по первой японской железной дороге, соединявшей Токио и Иокогаму, Л.И. Мечников писал: «Здесь кондукторы, японцы в европейских мундирах и в белых панталонах на коротеньких, дугообразно изогнутых ножках, сильно смахивающие на хорошо дрессированных мартышек, проделывающих с умным видом перед публикою неожиданные для их звания штуки...».[11]

Реформа волос

Реформа одежды дополнялась «реформой волос». Это был такой телесный показатель, который, в отличие от собственно тела (его конституции), мог быть, подобно одежде, изменен сравнительно легко и по приказу сверху. Правительство запретило самурайский обычай выбривать лоб, и он быстро ушел в прошлое: в обиход вошла стрижка. Среди японских мужчин стало модным отращивать бороду и, в особенности, усы. Японцы не могли «дорастить» до европейцев, в их высокорослом и широкоплечем обществе они ощущали стеснение и неудобство, но японцы были в состоянии отрастить такие же усы и бороды. В предыдущую эпоху политическая элита (самурайство) никогда не позволяла себе растительности на лице, но настали другие времена. И снова пример был подан императором Мэйдзи, который выступал в качестве «высочайшей модели», образца для подражания: на своем официальном портрете он предстал с усиками и бородкой.

Фотографии государственных деятелей того времени свидетельствуют: усы и борода сделались необходимым атрибутом приобщения тела японца к «цивилизации», под которой однозначно понимался Запад. Поскольку европейцы расценивали японское лицо как «детское» (ввиду гладкой и менее морщинистой кожи), или даже «женоподобное», то усы должны были «состарить» его и придать ему более «мужественный» облик. Литератор Тогава Сюкоцу (1870—1938), путешествовавший в Америку и Европу в 1908 году, отмечал, что он болезненно переживал свою «узкоплечность» и только усы позволяли ему ощущать себя несколько «более широкоплечим»[12]. То есть растительность на лице как бы увеличивала объем тела. В самой же Японии отсутствие усов стало восприниматься как признак «отсталости».

Однако в скором времени и в этом отношении японцев ждало разочарование. С начала XX века мода на усы и бороду идет на Западе (особенно в Америке) на убыль, растительность на лице становится достоянием людей пожилых (то есть «консервативных») и «презренных» рабочих, так что усатые японцы, путешествовавшие в США, превращаются там в предмет для насмешек[13]. Таким образом, усы, которые воспринимались в самой Японии как показатель приобщенности к западной цивилизации, оказывались негодным символом.

Реформа причесок коснулась и женщин. Традиционные женские прически отличались сложной конфигурацией. В качестве подушки японкам служила деревянная или же керамическая конструкция в виде небольшой «скамеечки». Положив шею на перекладину, японки сохраняли свою прическу нетронутой даже во сне. Для сохранения формы прически использовалось растительное масло. Японки мыли свое тело часто, но, ввиду трудоемкости причесок, это требование не распространялось на мытье головы. Европейцы же находили, что от головы японок исходит неприятный запах. Японские гигиенисты, которые были деятельными проводниками европейских обыкновений в деле реформирования тела, стали активно пропагандировать стрижку и частое мытье головы.

Японская женская прическа не может быть уложена без посторонней помощи. Теперь невозможность обойтись без помощницы стала подвергаться осмеянию и аттестовалась как «неэкономность». Участницы движения за отказ от традиционных причесок даже подсчитали в 1885 году, что услуги «парикмахерш» (тех женщин, которые помогали укладывать волосы) обходятся японкам в громадную сумму – 21 миллион иен в год[14]. Это соображение находилось в русле традиционных рассуждений о необходимости экономить и находило определенный отклик в сердцах японок.

Что до наиболее «передовых» японок, то они кичились распущенными волосами. Вызовом обществу явился шокирующий сборник стихов поэтессы Ёсано Акико (1878—1942),

названный именно так: «Спутанные (распушенные) волосы» («Мидарэгами»)[15]. Эти стихи воспевали страстную «свободную» любовь – вещь, несовместимую с требованиями традиционной конфуцианской морали, считавшей «свободную» любовь разновидностью безумия, которое разрушает общественный порядок.

В традиционной Японии женщины сбрасывали (выщипывали) брови, а аристократки еще и пририсовывали их тушью несколько выше. Этот обычай вызывал удивление европейцев и потому был признан нецивилизованным и стал постепенно уходить в прошлое. Однако еще в 1880 году В. Крестовский писал о большом количестве горожанок с выщипанными бровями. Правда, теперь это обыкновение получило моралистское объяснение, которого в прежние времена не существовало. Если раньше отсутствие природных бровей служило признаком статуса и, следовательно, красоты, то теперь дело обстояло ровно наоборот: утверждалось, что замужняя женщина выщипывает себе брови, чтобы сделать себя безобразной – дабы ни один посторонний мужчина не обратил на нее своего нескромного внимания[16].

Реформа тела

Японцы считали свое тело слабым, неразвитым, не приспособленным к конкуренции с людьми Запада в производственном и, главное, в военном отношении. Французские военные инструкторы отмечали, что японский солдат не в состоянии совладать с европейской амуницией. В связи с этим в стране развернулась дискуссия по поводу того, каким образом нарастить мускулы и объем тела.

Прежде всего, следует сказать о рационе питания. Японцы были убеждены, что «качество» тела находится в прямой зависимости не только от одежды, но и от того, чем его «наполняют». Одним из способов изменения габаритов японца была признана реформа диеты. Стали раздаваться голоса, призывавшие к замене риса пшеничным хлебом. «В городе Наби издан закон, которым предписывается есть хлеб в подражание европейцам, которые красивее, выше ростом, крепче и разумнее»[17]. В рацион стали входить молоко и мясо. Сам император Мэйдзи подал тому пример. Это был крутой разворот – ведь мясо млекопитающих традиционно считалось пищей «нечистой». Теперь же даже буддийским монахам разрешили употребление мяса. Хотя реальное потребление мяса на душу населения оставалось крайне низким, сама легализация мясной пищи стала символом перемен, происходящих с телом японца и его содержимым.

Желание японцев переменить рацион питания подогревалось унижительными аттестациями европейцев, которые те давали японской кухне. Они находили ее «пресной», говорили, что она надолго оставляет во рту «неприятный вкус». Сакэ вызывало воспоминания о «дурном рейнском вине». Сладости характеризовались как красивые на вид, но «отвратительные на вкус»[18]. О моде на японскую этническую кухню не было и речи.

Призывы к более калорийному питанию дополнялись призывами к изменению самого модуса телесного поведения. Горожанам, представителям элиты и людям интеллектуальных занятий предлагалось оторваться от книг и придать своему поведению больше динамизма. Специально подчеркивалось, что это требование не распространяется на крестьян (то есть подавляющее большинство населения), поскольку их трудовая жизнь и так полна движения. Японкам предлагалось отказаться от прежней концепции красоты, предполагавшей «ивовый стан» и телесную «призрачность», на смену которым должны прийти плотное тело и крепкие кости. Л.И. Мечников, попавший в Японию в 1873 году, отмечал, что «японский чернорабочий люд живописностью одежды и красотой форм далеко превосходит средние и высшие классы народонаселения»[19]. Однако японская элита желала подражать не своим крестьянам, а европейцам.

Придание телу более динамичных характеристик обеспечивалось, в частности, занятиями физкультурой и спортом. В школе были введены уроки физкультуры, в университетах вошли в обиход соревнования по легкой атлетике, гребле. Некоторое распространение получили лаун-теннис и бейсбол. Большой популярностью пользовались конные скачки. Для пропаганды подвижного образа жизни императору Мэйдзи пришлось заняться конными прогулками – занятие, немыслимое для прежних государей, статус которых предполагал неподвижность – император уподоблялся Полярной звезде, вокруг которой вращаются звезды-подданные.

Наблюдаются и попытки придания высокой статусности чисто японским видам двигательной активности. Прежде всего это относится к таким видам единоборств, как кэндо (фехтование на деревянных мечах), сумо и дзюдо. Стремление к равенству с европейцами приводило к постоянным дебатам, какую роль в этом деле призваны сыграть физические упражнения. Обрисовав телесную, моральную и даже интеллектуальную пользу дзюдо, его создатель Кано Дзигоро (1860—1938) говорил в 1890 году о сверхцели своего изобретения: «Я верю, что если мы будем твердо следовать сокровенным принципам дзюдо, то, даже если наша страна окажется в тяжелом положении и будет со всех сторон окружена сильными врагами, мы не устрасимся и не покоримся перед ними, а во времена мира и благополучия иностранцы будут восхищаться прогрессом нашей страны и завидовать красоте ее исконных обычаев. Точно так же я верю, что если мы будем твердо следовать принципам дзюдо... то уже вскоре наша родина будет признана одной из самых цивилизованных и могущественных стран мира»[20].

Из приведенного пассажа и из всего творчества этого выдающегося педагога видно, что Кано Дзигоро рассматривал дзюдо не столько как спорт, целью которого является победа в соревновании, сколько как средство достижения телесного и морального совершенства. При этом он делал акцент не на «грубой» физической силе и не на развитой мускулатуре (что для европейских видов борьбы было бы только естественно), а на силе «мягкой», на гибкости и ловкости. Современники неоднократно отмечали, что мастера дзюдо не отличались габаритами тела и рельефной мускулатурой, они выглядели собранными и подтянутыми – не более того. Целью занятий дзюдо было самосовершенствование, а не победа как таковая.

Деятельность Кано Дзигоро по пропаганде дзюдо следует признать вполне удачной. Однако она не могла повлиять на успехи японцев в тех европейских видах спорта, где требовалась не «мягкость», а совсем другие качества. Несмотря на несомненные достижения Японии как страны в «коллективном зачете» в области экономической и военной, в зачете индивидуальном японцы по-прежнему не могли составить достойной конкуренции на международной арене. Первый раз они приняли участие в Олимпийских играх в 1912 году в Стокгольме. Японцев оказалось всего двое – спринтер и марафонец. Их выступление оказалось откровенно провальным, марафонец даже не сумел добраться до финиша.

В 1884 году появилась работа журналиста Такахаси Ёсио «Об улучшении японской расы», в которой он утверждал, что отсталость Японии от Запада объясняется расовыми причинами и для «улучшения» породы японцам следует вступать в браки с европейцами, что принесет более совершенное потомство. Таким образом, Такахаси полагал, что тело японца не может быть реформировано усилиями одних японцев, для его приспособления к новым условиям требуется внешнее «вливание».

С точки зрения практического осуществления «план» Такахаси вряд ли мог быть воспринят серьезно. Европеизация Японии действительно набирала обороты, но самих европейцев в стране насчитывалось совсем немного. Так с кем же будут скрещиваться японцы? Проект Такахаси подвергся суровой критике, однако она заключалась вовсе не в сомнениях по

поводу его осуществимости. Показательна реакция известного мыслителя и педагога Като Хироюки (1836—1916), который высказывал следующие соображения:

1. Неизвестно, приведут ли смешанные браки к «улучшению» японской расы.
2. К такому улучшению могут привести, скорее, изменения в обычаях и среде обитания (одежда, рацион питания, жилье) и повышение уровня гигиены.
3. Даже если с помощью смешанных браков и будет достигнуто улучшение «японской расы», вряд будет возможно называть ее после этого «японской» - она попросту исчезнет[21].

Дискурс того времени имел целью не столько реформирование японского тела как такового и его превращение в тело европейское, сколько создание тела, которое могло бы справиться с задачами по модернизации страны, но остаться при этом «японским». И здесь позиция Като Хироюки нашла гораздо больше сторонников.

Предназначением женского тела объявлялось рождение здорового потомства, которое будет способно приблизиться по своим телесным параметрам к европейцам. Утверждалось, что обладатели «слабого» и «больного» тела наносят вред не только себе – они доставляют беспокойство окружающим и – что еще хуже – делают страну бедной и слабой[22]. Таким образом, в лучших традициях конфуцианского подхода к телу оно не считалось «собственностью» самого человека – его предназначением было служение чему-то большему. Но если раньше объектом служения выступали родители, то теперь к ним прибавилась вся страна, символом которой выступал император.

Основанное в 1884 году «Частное гигиеническое общество великой Японии» выдвинуло новый идеал женской красоты, вступавший в противоречие с прежним представлением о сексапильной и нефертильной красавице (гейше и проститутке), для которой характерна анемичность и субтильность. «Общество» пропагандировало «развитые мускулы, большой зад, толстую жировую прослойку»[23], то есть телосложение, приспособленное для физической работы и деторождения.

В японском обществе господствовало убеждение, что мужчины реформируют свое тело сами, им же принадлежит и решающая роль в деле реформирования тела женского. Так, профессор Абэ Исоо (1865—1949) утверждал: японские мужчины должны переменить свои вкусы относительно женской красоты, и тогда на смену нынешней идеальной красавице, для которой характерны истеричность, меланхоличность, бледность, пассивность, маленький рост и телесная слабость, придет типаж «западноподобной» красавицы – женщины крупной, энергичной, румяной[24].

Следует заметить, что в то время пропаганда дородной женщины не увенчалась успехом. Физически сильные крестьянки не становились объектом изображения. То же самое можно сказать и о фабричных работницах (вчерашних крестьянках), статус которых являлся исключительно низким. Многие высокопоставленные деятели периода Мэйдзи были женаты на гейшах, имели наложниц, посещение красавиц из «веселых кварталов» считалось нормой жизни элиты, самого императора окружали наложницы-аристократки, не имевшие ничего общего с новым идеалом красоты.

Соображения о таком идеале шли вразрез и со вкусами очень многих европейцев, которые, будучи пресыщены набравшей обороты маскулинизацией европейцев, пленялись японками традиционного типа. Именно их изображали европейские художники, именно ими восхищался несколько позже Борис Пильняк. Публичные дома Токио и их обитательницы –

манерами, воспитанностью и внешностью – привели писателя в восторг. Что до идеального типажа японской красавицы, то он представлялся ему так: «Тогда, в тот рассвет, я смотрел на эту женщину, одетую в кимоно, перепоясанную оби, с рудиментами бабочки на спине, обутую в деревянные скамеечки, - и тогда мне стало ясно, что тысячелетия мира мужской культуры совершенно перевоспитали женщину, не только психологически и в быте, но даже антропологически: даже антропологически тип японской женщины весь в мягкости, в покорности, в красавости, - в медленных движениях и застенчивости, - это тип женщины, похожей на мотылек красками, на кролика движениями»[25].

Стремление увеличить объем своего тела и «подрости» преследовало японцев того времени. Традиционная культура была ориентирована на «маленькое». Высокий рост не обладал положительными коннотациями, самураи совершали свои подвиги не столько благодаря богатырской силе, сколько благодаря силе духа. Постоянное нахождение на полу уравнивало разницу в росте, вальяжные позы, при которых тело максимально «заполняет» объем, не приветствовались и считались нарушением этикета. Телу предписывалось находиться в максимально «сжатом» и «сложенном» состоянии, чему идеально соответствовала церемониальная поза (сэйдза) – сидение «на пятках». Теперь же задача состояла в «распрямлении» японца, что знаменовало собой коренное переосмысление тела и его места в пространстве – как физическом, так и социальном.

Для увеличения роста врачи и гигиенисты настойчиво рекомендовали пересест с циновок-татами на стулья – от сидения на полу, утверждали они, происходит искривление позвоночника, а значит и убыль в росте. Настойчивая пропаганда «цивилизованного образа жизни» приносила свои плоды, интерьер японского дома понемногу менялся – в нем появлялись стулья и столы.

Процесс «распрямления» японца хорошо заметен на визуальных текстах того времени. Если раньше на парадных изображениях мы видим только сидящие на полу фигуры, то на фотографиях эпохи Мэйдзи портретируемые либо стоят, либо сидят на стульях. На скульптурных изображениях людей, которые устанавливались на улицах для публичного обозрения (подобная репрезентация раньше отсутствовала в Японии), объект изображения всегда стоит. На улицах японских городов появляются и конные скульптуры героев. Возведенные на пьедестал, эти изображения образывали вертикаль, которой Япония была ранее лишена.

Подобное «распрямление» имело и еще одну важную психологическую составляющую. До этого времени Япония знала только буддийскую скульптуру. Существуют три основных типа скульптурных изображений Будды, квалифицируемых по степени их «вертикализации»: лежащая (фиксирует момент достижения Буддой нирваны); сидячая (медитация), стоячая (шествующая) – момент проповеди. В Японии наибольшее распространение получили статуи медитирующего, то есть физически пассивного, Будды. Новые герои нового времени – государственные деятели и военные герои – изображались стоящими, что должно было подчеркнуть их динамизм.

В связи с тем, что обстановка в государственных учреждениях и школах была устроена на европейский лад, а сами служащие, преподаватели и школьники были одеты по-европейски, получило распространение «стоячее» приветствие – теперь приходилось не прижимать лоб к циновкам, а вставать со стула. Если в традиционной Японии люди, находящиеся в помещении, приветствовали друг друга сидя на полу, то теперь даже поклонение портрету императора во время общенациональных праздников происходило стоя: три шага вперед – поклон, еще три шага – более глубокий поклон, еще три – самый глубокий поклон.

Изменения в пищевой диете (увеличение белковой составляющей), усиленные занятия физкультурой и спортом, исправление осанки приносили свои плоды. За период Мэйдзи японцы подросли на «целый» сантиметр, но все равно этого оказалось мало. Несмотря на все свои усилия, они оставались ниже европейцев. Тем более что и европейцы за это время тоже подросли.

Реформа кожи

В начале периода Мэйдзи кожа служила еще одним параметром, по которому следовало сравниваться с европейцами. К коже предъявлялись два основных требования: чистота и белый цвет. Оба этих требования были вполне привычными. Японцы издавна отличались чистоплотностью, они принимали баню достаточно часто (безусловно, чаще, чем европейцы того времени). Это было связано с убеждением, что частое мытье способствует циркуляции энергии-ки (кит. ци) в организме и тем самым укрепляет здоровье и продляет жизнь. С распространением европейской гигиены упор стал делаться на то, что мытье с применением мыла уничтожает микробов.

Белизна кожи традиционно служила в Японии признаком «красоты». Это было связано с сословными представлениями: крестьяне находились на воздухе круглый год, аристократы же вели по преимуществу «интерьерный» образ жизни, и потому их кожа могла быть только «белой». Во время выходов «на улицу» над головами аристократов несли зонты. Он был призван не только предохранять от загара, но и защищать от «вредных» флюидов. Люди высокого положения и изысканного вкуса избегали солнечного света и предпочитали лунные ночи. Японская традиционная поэзия не уделяет солнцу никакого внимания, однако воспевание луны является ее важнейшим компонентом. В описаниях и изображениях японских красавиц и красавцев белокожесть выступает как абсолютно необходимый элемент.

В эпоху Мэйдзи, однако, белокожесть стала восприниматься, прежде всего, как показатель приближенности японского тела к европейскому. Реклама косметических средств всячески подчеркивала, что мыло и кремы способствуют белокожести и, таким образом, как бы «отмывают» и «отстирывают» темную японскую кожу до состояния европейской. В рекламе и рассуждениях тогдашних гигиенистов часто утверждалось, что белокожесть европейцев объясняется не столько их расовыми особенностями, сколько применением «современных» гигиенических средств. Таким образом, постулировалось, что в части белокожести японцы могут сравняться с европейцами, что разница в цвете кожи имеет не столько расовый, сколько культурный характер. Стоит только внести изменения в стиль жизни японцев, и тогда желанная цель – стать похожими на европейцев – будет достигнута. Этот рекламно-гигиенический стереотип проводился с завидной настойчивостью, утверждалось даже, что если отбелить японскую кожу до состояния европейской, то это будет закреплено на генетическом уровне, и белокожесть передастся детям[26]. Однако, разумеется, любой непосредственный контакт с европейцами не мог не убедить в том, что задача по «отбеливанию» кожи невыполнима. Пудра, которая традиционно имела среди японских женщин весьма широкое распространение, также не могла закамouflировать этот факт.

Конец XIX века принес резкое обострение «кожной» тематики. Победа Японии в войне с Китаем (1894—1895) спровоцировала разговоры о «желтой опасности». По отношению к японцам этот термин был впервые употреблен Вильгельмом II в 1895 году. Раньше в общественном сознании японцы не воспринимались как люди с однозначно желтым цветом кожи. Хотя французский естествоиспытатель Ж. Кювье и выделял «белую», «желтую» и «черную» расы, европейцы обычно находили цвет кожи японцев «темным», «смуглым», «оливковым», «темно-бронзовым» и т.п. Такие определения, как «смугло-желтый» и

«желтолицый» встречались, но до определенного времени не носили оскорбительного оттенка.

Термин «желтая опасность» (yellow peril) во второй половине XIX века употреблялся (преимущественно в США) по отношению к китайским рабочим-кули, которые были трудолюбивы, невзыскательны и составляли известную конкуренцию местному населению. Однако после японо-китайской войны под этим термином стала по преимуществу пониматься военная угроза, которую представляет Япония мировой гегемонии западных держав.

Презрительный и одновременно пугающий эпитет «желтый», употребляемый по отношению к японцам, с легкостью укоренился и в России, чему, безусловно, сильно способствовал исторический опыт нашей страны. Современные японские геополитические амбиции воспринимались в контексте татаро-монгольского ига. Владимир Соловьев видел в японском воинстве Антихриста. За победами японцев в войне с Китаем он предвидел угрозу будущему России. В 1894 году он с нескрываемым ужасом писал:

О Русь! забудь былую славу:

Орел двуглавый сокрушен,

И желтым детям на забаву

Даны клочки твоих знамен...

Во время японо-русской войны широкую известность получила песня «Варяг», в которой, в частности, пелось:

Из пристани верной мы в битву идем

Навстречу грозящей нам смерти,

За родину в море открытом умрем,

Где ждут желтолицые черти!

Японское правительство настойчиво заявляло, что война не имеет ничего общего со столкновением рас или же религий – она направлена «всего лишь» на обеспечение «справедливых интересов» страны. Тем не менее, японским общественным мнением она в значительной степени воспринималась как расовая, имела «цветовую» окраску. Желание воевать с Россией объяснялось в Японии не только экономическими и геополитическими соображениями. Ввязавшись в победоносную войну, японцы выживали из себя комплекс телесной неполноценности. Они прилагали титанические усилия, чтобы вообразить себя «настоящими» европейцами. Теперь, с введением в обиход «цветового» кода, зазвучали заявления, что у японцев белое сердце под желтой кожей, а вот у русских – желтое сердце под белой кожей[27].

Оправдание желтой кожи

После японо-русской войны японцы стали считать свою страну «державой», сопоставимой с державами мировыми – США, Англией, Францией, Германией, Россией. Казалось, что с дискриминацией со стороны Запада было покончено. Однако она приобрела качественно

другое измерение: стойкое определение японцев как «желтых» лишало их шанса сравняться с европейцами, ибо цвет кожи изменить невозможно. При этом определение «желтый» приобрело презрительный оттенок. Однако, признавая успехи Японии на пути приобщения к «цивилизации», европейцы все равно именовали японцев «обезьянами», имея в виду их способность к «внешнему» подражательству и неспособность к усвоению «сущности» западной цивилизации. Под этой сущностью имелось в виду прежде всего христианство, проповедь которого в Японии имела крайне ограниченные результаты.

Таким образом, реформы японского тела и его «камуфляжа» (одежды) имели существенные ограничения в деле признания равенства японцев с европейцами. Пребывая в эйфории, вызванной успехами «цивилизации» и в особенности победами в японо-русской войне, японские «передовые» мыслители заговорили, что расовые различия, за которые так держался Запад, не имеют значения. В статье, помещенной в февральской книжке влиятельного журнала «Тайё» за 1905 год, говорилось о том, что рост и вес человека, цвет кожи и волос являются следствием проживания в разных географических и климатических условиях, эти телесные характеристики – «внешние» и несущественные. Намного большее значение имеют «ум и моральность», а в этом отношении все народы Востока и Запада изначально равны. Поскольку же интеллектуальная и моральная составляющие поведения человека могут быть усовершенствованы и развиты, то именно за эти «культурные» параметры и следовало держаться: на этом пути Японию и японца могли ожидать успехи.

Однако более «перспективной» оказалась другая точка зрения. Поскольку все попытки приравнять японское тело к европейскому закончились провалом, появление в Японии сочинений, утверждающих, что японское тело хорошо и красиво само по себе, следует считать закономерным и естественным. Была предпринята попытка подойти к проблеме совсем с другой стороны: то, что раньше считалось «недостатком», объявить достоинством. Одновременно нарастают тенденции по отторжению западного телесного идеала.

В 1929 году появляется статья «Телесная красота японцев», написанная известным скульптором Асакура Фумио (1883—1964), прозванным «японским Роденом»[28]. В этой статье автор призывает японцев обнаружить в своем теле то, чем им следует гордиться. Упор при этом делается не на физическую мощь тела, а на эстетическую привлекательность (глаз, волос, лица, рук), дополняемую весьма путаными рассуждениями о «физиологичности» устройства японского тела. Автор полагает, что «черные глаза» японцев намного красивее «светлых глаз» европейцев. Помимо этого, черный цвет обладает лучшей светопоглощающей способностью, а потому лучше «усваивает» объект видения. Волосы японцев (и в особенности японок) – подобны веткам ивы и «никто не может сравниться с японцами по красоте волос, которыми мы должны гордиться». Пальцы японцев отличаются необыкновенной красотой и точностью движений. Их слух развит лучше европейского, доказательством чего служит японская музыка, основанная «на полутонах». Европейская же музыка напоминает автору «звериный рев». Что до тела японцев в целом, то оно «по своему строению очень естественно и архитектурно. В нем присутствует гармония и красота пропорций. И с точки зрения строения тела японцы далеко опередили европейцев на пути эволюции, их тело являет собой свидетельство более высокой культуры, в нем обнаруживается идеальная пропорциональность». Обращаясь к теории эволюции, автор утверждает: «Основатель эволюционной теории Дарвин доказал, что строением лица, мимикой, волосиным покровом, структурой кожи европейцы стоят к приматам ближе, чем люди Востока. А, значит, и в этом отношении мы, восточные люди, прошли больший эволюционный и культурный путь».

Асакура вроде бы говорит о телесной красоте всех «японцев», но за этими «японцами» отчетливо проглядывает женский образ. Недаром и на приводимом им рисунке, призванном

доказать пропорциональность японского тела, изображена именно женщина. «Некоторые утверждают, что среди японцев мало красавиц, но разве среди европейских женщин найдется хоть одна, которая могла бы похвастаться такой строгой и, одновременно, светлой и изысканной красотой? Я полагаю, что японские женщины – самые красивые в мире». О мужчинах-японцах ничего подобного не говорится. Синхронные тексты европейского тоталитаризма свидетельствуют о том, что в качестве телесного идеала там выступал физически развитый мужчина, а тело женщины «подверстывалось» под этот «мужественный» идеал. В Японии мы не наблюдаем ничего подобного[29].

Асакура Фумио еще не решался сказать, что основа основ европейского расизма – цвет кожи – может быть перекодирована. Он лишь говорил, что «отсутствие белого цвета кожи не мешает мягкому мускульному очарованию, с которым не могут сравниться европейцы». Однако другие мыслители стали утверждать, что желтая японская кожа «красивее» белой.

В 1931 году знаменитый писатель Танидзаки Дзюнъитиро (1886—1965) публикует эссе «Любовь и чувственность», в котором размышляет об особенностях любовных отношений «по-японски». Он пишет, в частности, о телесном своеобразии японок и утверждает, что они не в состоянии конкурировать с европейками ни красотой фигуры, ни красотой выражения лица, ни красотой походки. Если расцвет красоты западной женщины наступает после замужества, в 31—32 года, то японки бывают хороши собой только в девичестве. Выйдя замуж, они мгновенно теряют свою привлекательность – как лица, так и тела. И даже актрисы и гейши, которые смотрятся настоящими красавицами на обложках модных журналов, в жизни выглядят ужасно. По этой причине японки, перешедшие рубеж 30 лет, вынуждены отказаться от европейского платья, которое подчеркивает фигуру, и переодеться в кимоно, поскольку оно драпирует недостатки фигуры. Лицо же подлежит «маскировке» с помощью косметики.

За европейкой стоит древнегреческая цивилизация с ее культом обнаженного тела, что наглядно видно и в современных западных городах, где установлены статуи героинь античного мифа. Чтобы достичь этого идеала, японкам нужно уметь жить тем же мифом, поклоняться тем же богиням, тысячи лет усваивать европейское искусство, что, естественно, не представляется возможным осуществить[30].

В другом эссе Танидзаки оставил крайне неприглядное описание тела японки: «Эта плоская, как доска, грудь с тонкими, словно лист бумаги, отвислыми грудями; этот тонко перехваченный живот; эта прямая без всякого рельефа линия спины, поясницы и бедер; все туловище, утратившее гармонию с лицом, руками и ногами, худосочное и плоское, производящее впечатление не тела, а палки, - не является ли оно прототипом женского тела старого времени? Да и теперь еще можно встретить женщин с таким телом среди старых дам в блюдущих древние традиции семьях и среди гейш. При виде их я невольно вспоминаю стержень, на котором держится кукла. Их тело, и на самом деле, имеет назначение служить лишь стержнем, на который надеваются одежды». И такое «ассимитричное, плоское туловище кажется безобразным рядом с телом европейской женщины»[31].

Иными словами, соревноваться с европейками «на их поле» – дело пустое. Тем не менее, выход существует. Он заключается в том, чтобы обнаружить параметры, по которым японка превосходит западную женщину. Из таких параметров выделяется кожа.

«Красотой фигуры и телосложения восточная женщина уступает женщине европейской, но красотой кожи, ее мелкой текстурой она ее превосходит. И не только я, человек неопытный, считаю так – многие знатоки придерживаются такого же мнения, да и среди западных людей есть немало таких, кто думает точно так же. Я же хочу сделать еще шаг вперед и скажу:

восточная женщина (по крайней мере, с точки зрения японца) превосходит европейку и на ощупь. Если посмотреть на европейку с известного расстояния, то ее тело покажется глянцевым и гармоничным, но вместе с сокращением дистанции вас ожидает жестокое разочарование – текстура кожи оказывается грубой, вы замечаете, что она покрыта густой растительностью. Руки-ноги европейки приятны на взгляд и кажутся полно-плотными, что так привлекает японца, но если попробовать их на ощупь, то окажется, что плоть эта весьма мягка и дрябла, пальцы не встречают отпора – ощущение завершенной подтянутости отсутствует. С точки зрения мужчины на европейскую женщину лучше смотреть, чем заключать ее в объятия, с женщиной же восточной – все наоборот. На мой вкус, в части гладкости кожи и ее текстуры на первом месте стоят китайки, но и кожа японок много нежнее, чем у европейек; хоть она и не бела, но в некоторых случаях ее легкая желтизна добавляет ей глубины, в ней заключено нечто ценное»[32].

Тема кожи и тактильного восприятия, в европейской культуре разработанная мало, настолько волновала Танидзаки, что он продолжал ее развивать. В 1934 году в своем знаменитом эссе «Похвала тени» он отмечал: «Среди отдельных индивидуумов нам попадутся и японцы, более белокожие, чем европейцы, и европейцы с более темной кожей, чем у японцев, но в характере этой белизны и черноты существует различие... [Но] в японской коже, какой бы белизной она ни отличалась, чувствуется всегда слабое присутствие тени. Не желая отставать от европейских дам, японские женщины с большим усердием покрывали густым слоем белил все обнаженные части тела – начиная от спины и кончая руками до подмышек. Тем не менее, уничтожить темный цвет, сквозящий из-под кожного покрова, им не удавалось»[33].

Избегая понятия «желтая кожа», Танидзаки утверждает, что люди (расы) отличаются не по цвету кожи, а по оттенкам, образуемым сочетанием черного и белого. Если цвет кожи европейца однозначно «белый», то кожу японца «основные» цвета описать не способны. Поэтому, говоря о цвете лица японцев, Танидзаки употребляет определение «включающий в себя желтизну цвет слоновой кости». При этом «цвет тела» характеризуется как «коричневый с включением красного». Автор находит, что эти цвета обладают особой привлекательностью и не удивляется, что в прежние времена князья бывали привлечены красотой юношей[34].

Через два года после выхода «Похвалы тени» известный поэт Хагивара Сакутаро (1886—1942) в своем эссе «Японская женщина» смело утверждал: «Главная красота японской женщины заключена в цвете кожи. Ее подтененная кожа темно-кремового цвета поистине прекрасна... Кожа европейских женщин отличается абсолютной белизной и напрочь лишена такой подтененности... Белизна белого человека – это белизна отбеленной до предела рисовой муки – сухая безвкусная белизна, недоступная ни языку, ни пальцу... Конечно, среди японских женщин есть разные, но самые красивые – обладательницы белой кожи, в которую закралась желтизна. Те же японки, у которых кожа чересчур бела – они, как и европейки, слишком скучны и лишены очарования... Обладательницы кремового цвета, в котором смешались белый и желтый, и у которых кожа гладка на ощупь – вот они-то самые красивые среди японок, да и самые красивые в мире. Вот такие японки, у которых из-под пудры проглядывает желтизна, - сравнения не имеют, они не монотонны в своей красоте. В последнее время европейки заметили это и стали использовать желтую пудру, но им далеко до японок... Накрашенное лицо европейек представляет собой сочетание ярко-белого и ярко-красного, это – простота, лишенная очарования. Посмотришь издали – ярко и красиво, но это красота скучная, без вкуса и тени... В общем, красота японок подобна красоте японских цветов и трав, в ней есть глубина – тень и тонкость»[35].

Похоже, что в это время определение «белый» приобретает в значительной степени отрицательный оттенок – прежде всего в эстетическом отношении. Утверждается, что белый цвет «не подходит» японцу. Приведем рассуждения Танидзаки 1930 года относительно зубов японцев. Он отмечает, что в последнее время под европейским (американским) влиянием японцы стали больше заботиться о своих зубах (некоторые даже стали чистить их по два раза на дню), чаще ходить к стоматологу и теперь уже не так часто встретишь человека с «плохими» зубами. Однако Танидзаки раздражает и «правильный» прикус, наличие ровных зубов и, в особенности, их нынешняя «белизна». Раньше японцы не считали, что кривые и желтые зубы могут портить облик. Однако в своем стремлении к «цивилизации» нынешние японцы стали думать по-другому, хотя на самом деле белые зубы нарушают естественность, поскольку похожие на слоновую кость желтые зубы «прекрасно гармонируют с цветом кожи», а вот «белоснежные зубы стариков не гармонируют с обликом людей Востока»[36].

Танидзаки говорил с отвращением не только о белоснежных зубах, но и о белом кафеле и белых унитазах в туалетах европейского типа. Точно так же раздражают его и белые суповые тарелки, и белейшая европейская бумага, которая блестит и отражает свет, что создает неприятное впечатление. Традиционная же китайская и японская бумага свет поглощает, она мягка и не издает при складывании неприятного шуршания, что оставляет впечатление уюта и спокойствия. Так же нехороши белые потолки и стены европейского жилища[37]. Иными словами, ненавистная Танидзаки белизна, подчеркнутая таким же безвкусным электрическим освещением, исходит с Запада, она есть продукт деятельности белого человека. Писатель же мечтал о доморощенной цивилизации, самобытном искусстве и науке, которые порождали бы вещи и образы, способные соответствовать «цвету кожи и наружности японцев, японскому климату и пейзажу».

Писатели и поэты – часто с раздражением – отмечали, что по стилю жизни японцы теперь мало отличаются от европейцев, но от этого желание самоидентификации только становилось сильнее. Тело (главным образом, кожа) было тем последним рубежом, где японец держал оборону от «вражеских» сил, которые стремились отменить самобытность нации. Японцы надеялись, что цвет кожи спасет их от уничтожения.

Наблюдения японских литераторов отличаются безусловной тонкостью и вкусом. Однако не будем забывать и о том, что – в конечном итоге – они представляли собой перевернутый шовинизм белого человека. В особенности когда эти идеи бывали перенесены на уровень массового сознания. Только теперь признаком «благородного» происхождения и «красоты» выступает не белый, а желтый цвет. Хагивара находит, что европейки производят впечатление только на расстоянии, его же – в соответствии с традиционными японскими культурными установками – больше интересует взгляд с близкого расстояния[38]. И не только взгляд, его интересует и осязательная составляющая красоты. Сближение с объектом наблюдения должно быть полным, и Хагивара задействует даже пищевой код восприятия – усвоение (поглощение) красоты.

Обращает также на себя внимание и то, что обозначенный подход практически не распространялся на японских мужчин. Японские мужчины избывали свой комплекс телесной неполноценности за счет японских женщин. Но такая «подмена» могла удовлетворить только интеллектуала. Поведение японских военных указывало тот путь, на котором японские мужчины могли обрести уверенность в себе. Только одно положение Асакура Фумио можно полностью отнести к японским мужчинам. Он говорил о том, что упреки в «кривоногости» японцев не выдерживают критики: именно на этих ногах японские солдаты победили русскую армию. Таким образом, главной телесной гордостью японского мужчины является тот телесный орган, который обеспечивает военный триумф.

Полномасштабная война в Китае начнется в 1937 году, а еще через четыре года Япония объявит войну Великобритании и США. Эти войны представляются безумием, но логику поведения страны диктовали вовсе не соображения рационалистического характера, а, прежде всего, комплекс обиды на то, что Запад продолжает рассматривать Японию как «азиатскую» страну и не желает признавать «красоту» японцев. Этот «эмоциональный» фактор обладал огромной силой.

В XIX веке японцы страстно стремились избавиться от своей азиатской идентичности и влиться в «семью» европейских народов. Однако расизм Запада бесповоротно отбросил их в Азию, что имело колоссальные исторические последствия, ибо в этих условиях актуализировались идеи паназиатизма, семьи «братьев-азиатов», где роль «старшего брата» принадлежит японцу. Эти идеи находили сторонников и в Корее, и в Китае, и в Индии. Однако эффект был ограниченным: в этих странах не успело сформироваться даже государство-нация, а уж про «азиатскую идентичность» и говорить нечего. Но нетерпение было велико, и поэтому Японии приходилось доказывать свою правоту форсированными методами: Корея была присоединена к Японии (1910), у Китая отняли Маньчжурию (1931—1932) и организовали там марионеточную монархию Маньчжоуго, ради «объединения усилий» против общего «белого врага» в 1937 году пришлось начать «большую войну» в Китае. Не успев закончить ее, Япония объявила войну Англии и Америке.

Идеи паназиатизма привели в результате и к вступлению Японии во вторую мировую войну (в Японии ее именовали «великой войной в Восточной Азии»), официальной целью которой было избавление желтой расы от господства белого человека. Попытки понять причины этой войны с точки зрения экономики и политики имеют ограниченную объяснительную силу, ибо экономико-политический анализ имеет дело с рациональными категориями, то есть предполагается, что предпринимаемые действия ведут к «выгоде». Однако вся внешняя политика Японии 30—40-х годов XX века была продиктована не столько соображениями «выгоды», сколько «поэтическим» желанием доказать, что желтый цвет кожи ничуть не хуже белого.

[1] Карелова Л.Б. Учение Исиды Байгана о постижении «сердца» и становление трудовой этики в Японии. М.: Наука, 2007. С. 290.

[2] Дайниппон сётёку цукай. Токио: Рюгинся, 1941. С. 662—663.

[3] О трансформации облика Мэйдзи см.: Мещеряков А.Н. Император Мэйдзи и его Япония. М.: Наталис, 2006. С. 253—262, 303—309.

[4] Hearn L. Out of the East. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. P. 199.

[5] Notehelfer F.G. On Idealism and Realism in the Thought of Okakura Tenshin //Journal of Japanese Studies. Vol. 16. № 2. 1990. P. 327—328.

[6] Первые японские посольства в России в газетных публикациях 1862—1874 гг. СПб., 2005. С. 77—78.

[7] Там же. С. 44.

[8] Как живут японцы / Составила В. Овчинникова. М.: Типография Товарищества И.Д. Сытина, 1899. С. 92.

- [9] Мадзима Аю. Сабэцука то ю мохо: мэйдзики ёко эрито-но синтай-но «сэйёка» то дзинсютэки гэнкай // Cairo Conference on Japanese Studies. Kyoto: International Research Center for Japanese Studies, 2007. P. 61—63.
- [10] Миякэ Сэцурэй сю. Токио: Кайдзося. Серия «Гэндай нихон бунгаку дзэнсю». 1931. Т. 5. С. 256—257.
- [11] Мечников Л.И. Воспоминания о двухлетней службе в Японии // Известия Восточного института Дальневосточного государственного университета (Владивосток). 2001. № 6. С. 196.
- [12] Мадзима Аю. Цит. соч. С. 68.
- [13] Там же. С. 65—68.
- [14] Нихонси сирё. Токио: Иванами, 1997. Т. 4. С. 155.
- [15] С лирикой этой поэтессы в переводах Е.М. Дьяконовой можно ознакомиться в: Ёсано Акико. На ложе любви: Из японской поэзии Серебряного века. М.: Эксмо, 2006.
- [16] Крестовский В. В дальних водах и странах. М.: Центрполиграф, 2002. С. 379.
- [17] Первые японские посольства... С. 84.
- [18] Там же. С. 83, 88.
- [19] Мечников Л.И. Воспоминания о двухлетней службе в Японии. С. 181.
- [20] Кано Дзигоро. Общие сведения о дзюдо и его ценности в деле воспитания / Пер. А.М. Горбылева // Хидэн. Боевые искусства и рукопашный бой. М., 2008. Вып. 1. С. 173.
- [21] Нагацума Мисао. Синкарон дзюё-но сёсо. Миякэ Сэцурэй-ни окэру дзинсю то синтай // Гидзюцу то синтай / Под ред. Киока Нобуо и Судзуки Садами. Токио: Минэрбо, 2006. С. 242.
- [22] Судзуки Норико. Дзэгаку дзасси-ни миру рисо кадзиндзо-о мэгуттэ // Киндай нихон-но синтай канкаку. Токио: Сэйкюся, 2004. С. 141—144.
- [23] Там же. С. 138.
- [24] Мадзима Аю. Кииро дзинсю то ю унмэй-но тёкоку // Киндай нихон-но синтай канкаку. Токио: Сэйкюся, 2004. С. 115—116.
- [25] Пильняк Б. Корни японского солнца. М.: Три квадрата», 2004. С. 45.
- [26] Судзуки Норико. Цит. соч. С. 154.
- [27] Дневники святого Николая Японского. СПб.: Гиперион, 2004. Т. 5. С. 80.
- [28] Асакура Фумио. Нихондзин-но дзинтайби // Ниппон-но хокори. Токио, 1929. С. 600—609. Перевод См. перевод этого текста: Мещеряков А.Н.. Комплекс телесной неполноценности японцев и его преодоление (20—30-е годы XX в.) // Вопросы философии. 2009, №1. С. 65—74.

[29] О специфических чертах японского тоталитаризма см.: Мещеряков А.Н.. Быть японцем. История, поэтика и сценография японского тоталитаризма. М.: Наталис, 2009. К его главным чертам (по сравнению с нацистской Германией и СССР) следует отнести: отсутствие правящей партии; монархическое устройство; геронтократию; опору власти не на город, а на деревню; канализацию комплекса агрессивности вовне, то есть отсутствие (крайнюю ограниченность) репрессий по отношению к собственному населению; семью патриархального конфуцианского типа как модель для всех социальных отношений.

[30] Танидзаки Дзюнъитиро. Инъэй райсан. Токио: Тюокоронся, 1997. С. 112—114.

[31] Танидзаки Дзюнъитиро. Похвала тени // Похвала тени. Рассказы японских писателей в переводах М.П. Григорьева. Составитель и автор предисловия Л.Л. Громковская. СПб.: Петербургское востоковедение, 1996. С. 60—61.

[32] Танидзаки Дзюнъитиро. Инъэй райсан. С. 140.

[33] Танидзаки Дзюнъитиро. Похвала тени. Рассказы, эссе / Пер. с япон. СПб.: Азбука-классика, 2006. С. 62.

[34] Танидзаки Дзюнъитиро. Инъэй райсан. С. 39—40.

[35] Цит. по Мадзима Аю. Кииро дзинсю. С. 127.

[36] Танидзаки Дзюнъитиро. Инъэй райсан. С. 78—79.

[37] О семантике взгляда в японской культуре см., например: Мещеряков А.Н.. Книга японских символов. М.: Наталис, 2007. С. 351—366.

[38] О семантике взгляда в японской культуре см., например: Мещеряков А.Н.. Книга японских символов. М.: Наталис, 2007. С. 351—366.